

Иероним Ясинский

Типы Царского сада



Иероним Иеронимович Ясинский

Типы Царского сада

«День выдался жаркий, хоть и апрельский, и в тёплом пальто было тяжело бродить по откосам и крутизнам Царского сада, в надежде встретить живописное местечко и зачертить в альбом. Живописных местечек тут, разумеется, множество, и оттого для нашего брата, художника, так затруднителен выбор: и направо дерево душлистое, корявое, раскидистое, старое, такое, что, глядя на него, душа радуется; и налево, чудного весеннего тона, и прямо, и куда ни кинешь глазом...»

Содержание

Дворянская дочь	0005
Петька Голый	0013
Дунька Плешивая	0022
Опять Петька Голый	0034
Танька Цыганочка	0041
Отставной портупей-юнкер	0049
Сороконожка	0063

Иероним Ясинский
Типы Царского сада
(Из альбома художника)

И. Е. Репину

Дворянская дочь

День выдался жаркий, хоть и апрельский, и в тёплом пальто было тяжело бродить по откосам и крутизнам Царского сада, в надежде встретить живописное местечко и зачертить в альбом. Живописных местечек тут, разумеется, множество, и оттого для нашего брата, художника, так затруднителен выбор: и направо дерево дуплистое, корявое, раскидистое, старое, такое, что, глядя на него, душа радуется; и налево, чудного весеннего тона, и прямо, и куда ни кинешь глазом.

Полчаса проискал я чего-нибудь ещё поживописнее и, наконец, спустился под гору. Огромная липа привлекла моё внимание. Эта липа, толщиною в два обхвата по крайней мере, роскошно разрослась и слегка наклонилась к горе, точно поддерживала её тяжесть, упираясь в землю огромными полуобнажёнными корнями, расходившимися наподобие двух могучих ног. По глинистому руслу змеился ручеёк, и было бы преступлением, если б я не остановился на этой красавице липе. Благо, недалеко лежал большой камень. Я сел

на него, раскрыл альбом и стал работать.

Корни липы, расходясь, образовывали нечто вроде пещеры, но только неглубокой. Когда карандаш мой дошёл до неё, я заметил, что тень в ней чересчур пестра. Я встал и, к удивлению своему, увидел, что там была скамейка, на которой мог бы лечь человек, подобрав под себя ноги. Возле скамейки стоял глиняный красный кувшин с отбитой ручкой, и валялся букет пролесок.

Пещера была обитаема!

Я знал, впрочем, что Царский сад населён разной бездомной голытьбой; но я не думал, что населён он в прямом смысле слова. И моё недоумение и удивление было скорее археологического характера: так удивился бы археолог, который, зная о доисторических людях только из книг и по музеям, вдруг очутился бы перед жилищем пещерного человека.

Позади меня раздался треск сухого сучка. Я обернулся: шла нищая, ужасная на вид, в ваточной кацавейке, в грязном тёплом платке, в отрёпанной, светящейся от дыр, ситцевой юбке и резиновых стоптанных калошах. Из глубины этого клубка тряпок светилась пара

узеньких человечьих глаз, и краснел острый нюхающий нос.

– Здравствуйте, – произнесла она, приближаясь.

– Здравствуйте, – ответил я.

Она хрипло засмеялась.

– Вы что здесь делаете, барин?

– Видите – рисую.

Новый взрыв хриплого смеха.

– Для чего рисуете?

– Так надо.

– Так надо, – повторила она и заглянула в альбом.

– Сымите меня, барин, – сказала она по-молчав.

Нищая была очень типична, я приготовил новый листок альбома.

– Хорошо, садитесь, я нарисую вас.

– Где садиться?

– Садитесь на эту скамеечку.

– Хи-хи-хи!

– Что вам смешно? Сидите смирно. Я заплачу вам.

Она уселась. Но не успел я обвести контур её фигуры, как она опять заволновалась.

– Мне, барин, выпить хочется за ваше здоровье... Барин, а барин, когда я была молоденькая, то один прапорщик мне пять рублей дал за то, что я снялась... в полном своём виде. И тую карточку он при сердце своём по гроб жизни обещал носить... Мне ежели, барин, дадите двугривенный, то я выпью... Ах, как выпью!

– Тише, пожалуйста. Вот ответьте мне лучше, здесь ночуют, в этом дупле?

– Хи-хи-хи!

– Вам трудно сказать, что ли?

– Ночуют! Все ночуют! Кто первый пришёл, тот и ночует. Здесь свадьбы справляют! Хи-хи!

– И вы?

– А как же!

– Вам лет сорок?

– Я не считала. Может, я ещё и молода. Меня унтер-офицеры очень обожают. Я ведь не какая-нибудь. Я – дворянская дочь, – продолжала нищая. – Они меня за благородство избирают. Тут молоденьких много шляется. Да кровь не та. Нет!

– Если вы дворянка, зачем вы называете

меня барином?

– Как же вас назвать? Ну, хорошо, буду говорить вам: господин фотограф.

Она засмеялась.

– Отпустите, ой отпустите душу на покаяние! Пить хочется, смерть моя!

– Подождите немножко. Не вертитесь.

– И зачем вам мой патрет – право, и не знаю, – с кокетливой ужимкой начала она.

– Сами просили!

Она закрыла лицо рукой и сквозь пальцы жеманно смотрела на меня.

– Примите руку.

В ответ она стала смеяться, тереть ладонью по носу и, наконец, легла.

– Ой, – смерть моя!

– Ни копейки не получите! – сказал я и хлопнул было альбом.

Она мгновенно выпрямилась, скромно села и не шевелилась.

– Сымайте уже, сымайте скорей! Это я так.

Я начал рисовать.

– Глаза рисуете?

– Да.

Она широко раскрыла глаза.

– Что вы делаете?

– Чтоб лучше вышло. Когда глаза большие, то красивее.

Она кокетничала!

– Скажите, вы постоянно в саду? Круглое лето?

– А то ж! Да и зимою случается, когда к Терещенко, в ночлежный дом, не попадёшь.

– Зимою в саду?

– Новости какие! До кучи сберёмся, мужчины и бабы, и греемся. В прошедшем году одна девушка Богу душу отдала. Или мы приспали её, или уж худо одета она была, а только так случилось. Проснулась я... Братцы мои! Что это, лёд такой у меня под боком! Цап – аж то Машка заоченела...

Она пожевала мягкими, как у лошади подвижными губами.

– Красивая эта девушка была, – начала она вдумчиво. – Тело белое, а ни пятнышка. На меня была похожа.

– Вы никогда не пробовали служить?

– На что мне служить? Хи-хи-хи! Невидаль! Да и где место найдёшь? И кто меня возьмёт... такую...

– Какую?

– Дворянскую дочь, – пояснила она. –
Непривычное дело моё!

– Но когда-нибудь и что-нибудь вы работали?

Она долго думала, как бы вспоминала. И, наконец, решительно сказала:

– Никогда! Я у своих родителей была первой дитёй. А родители были богатые, в казённом месте готовая квартира с отоплением и прислугой, и маменька каждый день на фортепьянах играли... Учили меня, правда, да что толку...

Она махнула рукой.

– Господин фотограф! Великодушный мусье! – вскричала она. – Подступило! Сюда подступило! Пить! Позвольте хоть на крючок...

Я дал ей двугривенный. Она вскочила с быстротой молодой девушки, и нос её ещё сильнее покраснел от радости и от предвкушения блаженства выпивки. Но мимоходом она не забыла взглянуть на свой портрет. Она ухмыльнулась, покачала головой, лукаво взглянула на меня и исчезла в кустах.

До меня долго доносился её хриплый смех.

Петька Голый

Предо мною стоял человек лет сорока Пвосьми, невысокого роста, мальчик по сложению, с кудлатой бородёнкой песочного цвета, с большой головой и с огромным, до ушей, тонкогубым ртом, придававшим всей неприятной образине незнакомца что-то лягушечье. Совершенно круглые металлические глазки прятались в морщинистых веках, картуз, с разорванным надвое бумажным козырьком, ухарски сидел на макушке, и красная кумачовая рубашка была расстёгнута, обнажая белую, безволосую грудь. Поверх рубашки был надет пиджак щёгольского покроя. Шёлковая подкладка лохмами висела там и сям. Ни одной пуговицы не сохранилось на пиджаке. Незнакомец стоял, заложив в карманы пиджака руки и смотрел в упор на меня. Панталоны его состояли из обрывков какой-то синей материи, должно быть китайки, грязной-прегрязной. Дыры были так громадны, что ноги казались голыми и белелись на тёмно-зелёном фоне Царского сада точно две берёзки, плохо одетые скудной листвой.

На ступнях же красовались порыжелые ботинки с загнувшимися кверху носками, напоминая собою копыта извозчичьей лошади.

– Что ж вам, господин, надо? – сказал, наконец, незнакомец, между тем как я пристально смотрел на него.

– Посидите или постоитте. Я вас нарисую...

– И за это, значит, заплатите? *Дурные деньги* у вас, что ли?

– Не ваше дело.

Незнакомец снисходительно усмехнулся, тоже не спуская с меня взгляда.

– Вы думаете, мне совестно деньги с вас брать? Премного ошибаетесь. А я к тому, что зачем вам понадобилась моя карточка! Ведь, на что-нибудь она вам годится?

Я должен был объяснить, что это вовсе не фотография, и что рисую я исключительно для себя.

– Фотография с руки, разве трудно понять!

Лягушечьи глаза его улыбнулись, он сказал:

– Ну, да ладно. Снимайте!

Он небрежно полулег на траву, облокотившись. Сначала его интересовало, что я делаю.

Затем лицо его приняло равнодушное выражение, и он, прищурившись, тупо смотрел вдаль.

Мне хотелось вызвать его на разговор, и я несколько раз начинал беседовать с ним, но он отделялся односложными ответами, мычал и зевал.

– Я уж не первого вас срисовываю... – начал я.

– Всякий свою линию ведёт, – сентенциозно произнёс он и сплюнул, продолжая глядеть в неопределённое пространство.

Лучи солнца отвесно били на нас и так нагрели голову незнакомцу, что он мало-помалу задремал. Ключнув носом, он просыпался и раскрывал глаза: но через минуту снова засыпал. Я был рад, когда портрет пришёл к концу, и сонливый незнакомец, получив деньги, удалился от меня.

Дня через два, любуясь солнечным закатом с крутого берега Днепра, я опять увидел незнакомца. Он тоже стоял на горе и смотрел на Подол, тонувший в розовом тумане. Неужто и этот оборванец не лишён чувства природы? Мы, художники, иногда чересчур

заносимся, воображая, что мы одни способны наслаждаться красотой. Оборванец, впрочем, не был уже оборванцем. На нём была серая пара и новый картуз. Он поклонился мне приветливо как старому знакомому. А когда я ответил на его поклон, он в радостном волнении подошёл ко мне.

– Узнаёте ли вы, господин, Петьку Голого? – произнёс он хвастливо и окинул себя довольным взглядом.

Да, строго говоря, его трудно было узнать. Всё на нём было чисто, и только кумачовая рубаха по-прежнему была расстёгнута на груди. Он точно помолодел, и морщины на его загорелом рябоватом лице разгладились.

– Вас Петькой Голым зовут? Да, вы изменились. Поступили на место, что ли?

Он рассмеялся.

– С какой радости? Скоро двадцать пять лет, как я свободный человек. Никому не служу, сам себе пан.

– Вы из крепостных?

– Да. Лаврский штатный. А всё впрок мне ваши денежки пошли! Извольте видеть, как дали вы мне позавчерась два пятиалтынных,

в тую же минуту сел я в карты играть и в тую же минуту всех обобрал, то есть до нитки, до последнего гроша, даже платочек на шею и тот выиграл. Но как, значит, не терплю стеснения гортани, то и бросил его... Очень вам благодарен, господин, за лёгкую руку.

Он приподнял фуражку.

– Обработал, обчистил, по миру пустил! – вскричал он в каком-то экстазе. – С генеральского кучера богатейшую плисовую поддёвку снял, а Федосея-лавочника на семнадцать карбованцев нагрел! Да что – всех нагрел! Меди и серебра в платок навязал! Почитай, всего рублей за тридцать хватил! Часы выиграл!

Он показал мне потёртые серебряные часы и несколько ассигнаций.

– Где же это вы... Здесь, в саду?

– А то ж! Вон и теперь дуются! Вон видите!

На полянке, освещённой умирающими лучами солнца, лежала кучка людей, расположившись звездообразно, головой к центру. Они молча и сосредоточенно играли в карты.

– Теперь я на человека похож, – продолжал Петька Голый. – А то, что я был? Жулик, босьяк?! Самого себя стыдно было! Верите, как вы

стали рисовать, такая совесть заговорила, что чуть я вас тогда ножом не пырнул. Но только ножа на ту пору не случилось, да и трус я – курицы обидеть не могу. Вот и жидов когда били, всего только и попортил я, что мальчишке ихнему скулу своротил, да ещё евреечке пальчик вывихнул. Потому что я до женского пола чрезвычайно как, могу сказать, охоч. Теперь на мне не краденое, с позволения сказать, а своё собственное – и шапочка, и штаники, и сюртучок. И при часиках я, и при капитале. Вы как думаете? Я такого счастья, может, уже десять лет жду, да всё никак дождаться не мог, и как оно привалило – решительно не соображаю и до сих пор полагаю, что это во сне...

Он с недоумением взглянул на меня, на свои часы, на ассигнации и широко улыбнулся.

– Нет! Не сон это! И за что это мне, Господи! За то, что десятки лет голодал, холодал, угла, где голову преклонить, не знал, а в юности монастырского кнута в избытке даже отведал и весь век сиротой промаячил! Ну, да уж и справлю я праздник! Боже мой!

На секунду он зажмурил глаза.

– Первым делом, господин, возьму номер в гостинице, чтоб всё было прилично. Я как выиграл деньги, то весь день ещё не ел и не пил, и в желудке у меня, извините за грубость, соловьи щёлкают. Нарочно жду, чтоб приятнее кушанье показалось. Человек во фраке и белом жилете будет у меня прислуживать и все мои приказания духом исполнять. «Эй, братец, подай этого!» «Эй, милый, принеси того!» «Раздень меня, братец!» Четыре рубля и пятьдесят копеек определил я на одно это! А за три рубля Дуньку Плешивую возьму, да её сестрёнку Таньку, да пусть пляшут и пятки мне чешут как настоящему барину. Вина на пять целковых куплю. Да что Дунька Плешивая или Танька! Экая невидаль! Я настоящую барышню приглашу с Крещатика или из Шата. По струнке ходи передо мной! Повинуйся мне! Ух, мамочка!!

Он вошёл в азарт и размахивал руками. Его глазки сверкали как две огненные точки. Это был мечтатель, много лет ограничивавшийся только грёзами о хорошем житье-бытье и, наконец, достигший, нежданно-нега-

данно, возможности осуществить свой заветный идеал. Этот Петька ходит чуть не нагим, голодный и озлобленный, бесплодно вожделеющий, и вдруг он одет, он в «шапочке» и «при часиках». У него голова шла кругом, и, при малейшей фамильярности с моей стороны, он заключил бы меня в объятия.

Солнце погрузилось за черту горизонта, и долее оставаться в Царском саду было небезопасно: в «населённости» его я убедился ещё в первую прогулку. Я направился к выходу.

– Пойдите, господин, – озабоченно и просительно сказать Петька Голый. – Что я вас спрошу... Как от вас мне счастье...

Он посмотрел в ту сторону, где игроки неподвижно лежали вокруг карт, страстно затаив дыхание и, должно быть, крепко напрягая зрение: быстро смеркалось.

– И как вы доброй природы, – продолжал Петька, – а между тем, я в самом игроцком ударе... И чтоб уж кутить, так кутить: и Дуньку, и Таньку, и барышню, и чтоб даже шарманка была... То не будете ли вы в такой степени великодушны – не позычите ли мне ещё

хоть десять копеек? Тут солдатик лежит, у него три красненьких в ладонке. Страсть хочется ещё и этие деньги сорвать!

Он так сиял, он так был уверен в выигрыше, а с другой стороны, мне так хотелось поскорее уйти домой от этих подозрительных фигур и от самого Петьки Голого, что я дал ему десять копеек.

Он беспечно засвистал и подошёл к группе картёжников. Кажется, его не сразу приняли, опасаясь его чертовского счастья.

На следующий день, рано утром, я встретил его снова в Царском саду. Он по-прежнему был в изношенном картузе с раздвоенным козырьком, и ноги у него были голые. Вчерашнего великолепия как не бывало. Лицо его поражало своим старческим видом, своим землистым цветом, потухшими глазами, под которыми стояло по фонарю. Мне показалось, что в его бороде много седины.

Заметив меня и мой вопросительный взгляд, Петька Голый нахмурил брови и зверски закусил нижнюю губу. Он ничего не сказал. Но я догадался: мои деньги на этот раз принесли несчастье.

Дунька Плешивая

Босяки, населяющие Царский сад, не только знакомы между собою, но и почти все – большие приятели. Что-то вроде артелей или кружков, существует у них. На голодный желудок, босяк лежит под деревом и дремлет, ленивым глазом посматривая на прохожих. Но если ему удастся раздобыть копейку, он вдруг оживляется. Он вскакивает, торопливо шагает по откосам, и его оживление такой благоприятный признак, что мигом вскакивают и другие босяки, столь же лениво и безнадёжно дремавшие там и сям в саду. Вокруг счастливица собирается кучка голодных друзей, и кто-нибудь, одетый попримичнее, снаряжается «в город» за селёдкой или колбасой, а также за полуштофом. Выпив и закусив, босяк «полагает себя» самым счастливым человеком в мире и об одном только молит Бога, чтобы холода не наступили, чтобы дождей не было, и чтоб полиция не привязывалась.

– Житья нет благородным людям, – говорит босяк. – Повсеместный позор и прижимка! Помилуйте, господин, я живу как человек

Божий, днём сны вижу, а ночью соображениями занимаюсь. Постель у меня – кулачок под головку, зонтик – лопух над головкой, служу очень даже усердно – деревья в Царском саду подпираю, без меня то есть попадали бы... И вдруг откуда ни возьмись – полиция! Зачем? По какому твоему праву? Естественно, наш брат ропщет.

После обеда босяк, находясь в приятном расположении духа, бродит по саду, забираясь в самую глухую чащу. Не из желания промыслить что-нибудь предпринимает он эти прогулки, а просто ради развлечения.

Добыча же довольно постоянная заключается в срывании платков со спящих в саду мёртвым сном богомолков и шапок с богомольцев. Иногда и поценнее вещь унесут. Подвиги эти сопровождаются смехом, шутками и прибаутками. Сначала жертва выслеживается, затем исследуется, нет ли поблизости полицейского, наконец, жертва оцепляется. Платок или другой «приз» передаётся из рук в руки с изумительной быстротой. И он уже продан и пропит, а бедная жертва всё ещё спит своим тяжёлым странническим сном.

Босяк «охоч» до утончённых удовольствий. Один босяк взбирался на деревья с опасностью для своей жизни и оттуда смотрел, как дамы раздеваются в купальне. Босяк – мечтатель и любит райские перспективы.

Но идеализм идеализмом, а реализма босяк тоже не чужд. Любовью босяк даже, можно сказать, пресыщен. Бездомные старухи с загорелыми, почти испечёнными лицами, горничные и кухарки без мест, босые и под зонтиками, девочки, закутанные в тёплые платки и просящие у вас Христа ради, – это всё его любовницы. Только он их не ценит. По его словам, все они «внимания не стоящие». Некоторое исключение составляет разве Дунька Плешивая.

Главные достоинства Дуньки – нравственные. Разумеется, я говорю здесь о нравственности с босяцкой точки зрения. Никто скорее Дуньки не сбегает за колбасой, за полушторфом. Никто так вовремя не увидит полицейского. Она как змея вьётся между кустами и деревьями, и «за ней» живётся босякам Царского сада сравнительно спокойно.

Дунька одета кокетливо. Синяя шерстяная

кофточка со стеклярусом, красные бусы, на голове белый платочек, повязанный на манер капора – фургончиком, так что лицо её всегда в тени, и оттуда смотрят тёмные, слегка сонные глаза. Дунька – милостивая девушка лет шестнадцати, с мягким вежливым голоском; она знает несколько французских фраз, нерабочие руки её чересчур тонки, благородной формы, и если б не неизбежный синяк под глазом и не юбка, опустившаяся назади в виде шлейфа, от постоянного лазанья меж кустами, то её можно было бы принять за провинциальную барышню, не кончившую образования по бедности родителей и, в ожидании женихов, ведущую праздную жизнь, в каком-нибудь заштатном городе Коропе или Березном.

Она не жеманилась, когда я заговорил с нею, и охотно села «сниматься». Должно быть, между босяками Царского сада уже распространилось, что я – человек безобидный, и мои гривенники и пятиалтынные были внесены в смету, более или менее, постоянных босяцких доходов.

– Отчего вас зовут Плешивою? – спросил я.

Она засмеялась.

– Оттого, что им нечего делать, и они всё выдумывают на меня. На голове у меня волос – за три дня не выскубишь!

Она сняла платок, и, в самом деле, обилие волос было поразительное. Это были рыжеватые светлые волосы, густыми прядями выбивавшиеся из-под небрежно сложенных на затылке кос.

– Видите, плешивая? – произнесла она с гордостью. – Каждая захотела бы такой плешки! Но им натурально смешно, что волос много, и вот взяли и навпротив...

Она снова повязала платок.

– Есть у вас родные?

– У меня тётя есть, и они с мужем. Но как Николай Семёныч ко мне всё пристают, то тётя возревновали и, прямо сказать, на улицу выгнали. Всё это только буквально несправедливо. Порок и мараль – больше ничего! Николай Семёныч сколько раз в саду встретят и начинают: «Дунечка, а Дунечка!», но я на них плевать хотела, хоть озолоти меня! Я ещё Бога не забыла и греха такого на душу не возьму. Я говорю: «Грешно вам, Николай Се-

мёныч, вы дядей мне приходитесь». А они отвечают: «Я, – говорит, – в губернском оправлении служил и все законы читал; и там говорят, написано, что ежели не родной дядя, то – ничего». Есть такой закон?

– Такого – должно быть нет. Что ж, дядя теперь не служит?

– Запьянствовали, им и отказали от места. На Соломенке у них свой домик – за тётей в приданое взяли. И у нас тоже был там домик, и корова была, и садик. Папаша стрелочником на железной дороге служили. Бывало всего-всего принесут! Вот таких свечек стеляриновых... Потом папаша стали грустить, взяли, утром пошли, да и кинулись под поезд. Тогда в газетах о нас писали. Приносят это папашу, а у него в грудях ямка, и чёрной кровью всё запеклось, а очами так грустно дивлятся, и ручки у них поломаны. Потом взяли и померли...

– Вы любили отца?

– Как же не любить! Они меня баловали – не надо лучше. А мамаша, бывало, всё бьют. Всё меня учили, да, видно, мало – не такая бы я вышла. Мне десять лет было, а меня на реч-

ку с бельём зимою посылали. Ну, бельё расте-
ряю, оттого, что руки смёрзнут. Прихожу до-
мой, ни жива, ни мертва, слёзы глотаю,
глядь – мамаша уже крючок допивают. «Где
бельё?» «Так и так, мамаша... Милая мамень-
ка, не бейте, ах, не бейте меня!» Но они, нату-
рально, отколотят меня, как нельзя лучше, и
всё выспятками, всё выспятками, а далее
схватят за уши, за косы – у меня уже косы по-
рядочные были... Пока папаша не придут, всё
бьют. Уж у меня и голоса кричать не хватает.
А придут папаша, они с папашей свариться
начнут, за папашу уцепятся, зачем балует ме-
ня. И так до полночи... А далее спать лягут, и
меня, и папашу целуют, а сами горько-горько
плачут...

– Когда папаша умер, вы домик продали?

– Нет, не сейчас. Нам ещё из казны денег
выдали, а потом красивая такая барыня, с хо-
рошей муфтой, встретила мамашу и меня, и
сестру Таньку, разжалобилась и – дай ей Бог
многие лета! – в газетах расписала о нашем
несчастье. Господа стали жертвовать и про-
жертвовали больше сотни рублей. Но только
мамаша всё пропили.

– Ну, а потом?

– А потом мамаша видят, что мы уже растём, сказали: «Пора учить Дуньку и Таньку». И отдали нас в ученье. Таньку к модистке на Крещатик, а меня на Подол в корсетное заведение, к мадаме. Напринималась я муки дома, а тут думала, дух из меня выскочит! Мадама толстая и сердитая. Сейчас из-под передника вытащит ремешок, этаким плоской на конце, прикажет девушкам держать и как начнёт ляскать! Потому что она любила, чтоб всё было аккуратно. Комнаты у мадамы были маленькие, а девушек много. Но тихо было, так что слышно, как муха пролетит. Ни петь, ни разговаривать громко нельзя. Сейчас: «Куш, канайль!» А мне уж четырнадцать лет исполнилось. Меня мамаша хоть били, а только никогда не секли. Работала я добросовестно, и – хоть грех сказать – водила нас мадама чисто как барышень, и бельё чистенькое, и платице шерстяное – да и кормила, нельзя сказать, чтоб скупое – а только роптала я и Богу молилась, как бы он избавил меня от этой каторги. Вот раз вшила я пружинку, да не в тот ластик, а она: «Мизерабль!» Сцепила я зу-

бы, девушки молчат, вся я похолодела. Только в тот день работы было много, и думала я, что мадама забудет на меня. Нет, гадюка, стала наказывать Соньку, про меня вспомнила. Ну, тут на меня зверство нашло, стала я кричать, ругать её скверными словами и, наконец, па-лец ей прокусила...

При воспоминании об этом, Дунька рас-смеялась и даже точно захлебнулась от вос-торга.

– Насквозь прокусила! Кровь у неё так и побежала! Она: «Полиц! Полиц!»! Да в обмо-рок. А я не будь дура – вижу, старшие хотят запереть меня в чулан – дралá! Иду по улице, ног под собой не слышу. Только лавочник, где приклад мы брали, встрел меня и говорит: «Куда вы, – говорит, – без шляпки, барышня»? Я спужалась, а он так ласково: «Заходите, – го-ворит, – барышня, ко мне в лавку, там ком-натка на чердаке есть. Я человек женатый, дурного вам не сделаю. И окроме того, никто вас не увидит. Я вам дам шляпку». Мне разду-мывать некогда было, я за ним, дура, пошла. «Что ж, – думаю, – пускай шляпку даст!» Во-шли в лавку, приказчики на меня этак су-

рьёзно посмотрели и хозяину поклонились. Иду я дурепа дурепой, а как пришли наверх, то он спрашивает: «Какого бы вы, барышня, угощения хотели»? «Пить», – отвечаю. Он приказал лимонаду и коньяку принести. Всё утро у меня жгло, губы горели, и как припалась я, то вдруг три стакана лимонаду выпила, а в каждый стакан он коньяку подливал. Тут всего я решилась. Память отшибло. А как очнулась я, то вижу, что темно уже, фонари горят, и иду я по Владимирской, в шляпке и перчатках. Пощупала в кармане – бумажка лежит. Опять мне пить захотелось и маменьку повидать. Думала, солгу ей, будто мадама отпустила меня, и будто мне нездоровится. Взяла извозчика – приезжаю на Соломенку, а там маменька лежит на столе. Вот вам.

Она замолчала.

– И что ж! – продолжала она. – Если б нас с Танькой учили лучше, из нас люди вышли бы. И молоденькие, и лицом ничего себе. А мы от дела отбились, по садам шляемся. Я страсть, как водку люблю. Я – запойщица. Я и по заведениям пробовала жить. Не держат, оттого, что уж совсем свиньёй делаюсь. В рот

мертвецу копейку клали, и затем в водке полоскали, и той водкой меня поили – не помогает! Вот какая я, барин! Пропащая!

Она слегка вздохнула. Но по наружности её нельзя было заключить, чтоб она была глубоко огорчена своей судьбой.

– И давно вы пьёте?

– Да вот с тех самых пор, как пить тогда в лавке захотелось. Не постоянно пью – Боже сохрани! – а временами. Но только, говорят, это хуже!

Она задумалась.

– Я этого так боюсь! Что страму мне тогда, глумятся надо мной, издеваются! Я б вам сказала ещё, за что меня Плешивой прозвали, да мне совестно...

Она густо покраснела.

– Нет, уж, не говорите, если совестно.

Она сидела, потупившись. Карандаш бегал по бумаге, и странная тяжёлая тишина простёрлась над садом. Воздух дремал, распалённый жгучим полуденным солнцем. Я тщательно вырисовал портрет бедной Дуньки, и когда я уходил из сада, мне всё казалось, что даже старые деревья тронуты жалкой долей

погибшей девочки и вслед за нею участливо
и грустно шепчут:

– Пропащая! Пропащая!

Опять Петька Голый

По временам, на босяков Царского сада чины полиции производят правильные облавы. Босяки ютятся по густо и дико заросшим склонам срединной котловины сада, где растут фруктовые деревья, и ютятся в расщелинах приднепровских бугров, зеленеющих шиповником и другими раскидистыми кустарниками, вплоть до Выдубецких прибрежных зарослей, и далее, подвигаясь летом к Китаеву. По крайней мере, в тамошнем лаврском лесу я встретил недавно Петьку Голого. Он был пьян, но узнал меня, снял картуз и, держа его на отлёте, проговорил:

– Господину фотографу наше приятное почтение!

Он был в длинном армяке и напоминал теперь свою фигуру послушника.

– Ты чего здесь?

– А на даче-с. В городе летний дух пошёл, и так как многие господа в деревню выехали, то и я с ними. Не соблаговолите ли прожертвовать медного пятака бедному страннику?

Во время облав полиции удаётся захватить

душ пятнадцать-двадцать. Не могу с точностью ничего сказать, что с ними делает она, но полагаю, что мера эта совершенно бесполезна. Босяков в Киеве сотни и даже тысячи. Больше на пятнадцать душ или меньше этих босяков в данный момент – решительно всё едино. Бесперывно общество выделяет из себя известный процент босяков, всё равно как организм, если он болен, выделяет гной и покрывается язвами и струпиями. Внутреннего лечения ни один современный социолог не в состоянии прописать, и даже ни один законодатель. Остаются наружные средства, которые на официальном языке носят название «мер» и «забот» (об «общественной безопасности», «благочинии» и пр.). Полиция может быть уподоблена в этом случае тому врачу, который, снимая гной с одного участка язвы, оставляет на произвол судьбы другие участки. Мало этого: сняв крошечную частицу гноя и подержав её некоторое время на кончике скальпеля, врач, не зная, куда деть вредную материю, и что делать с нею, опять кладёт её на прежнее место. Говорится это не в осуждение полиции, разумеется; я указываю только

на факт. Полиция бессильна по отношению к босякам, и нельзя требовать от неё невозможного. Водворённый на место жительства, босяк сейчас же возвращается туда, куда «влечёт его неведомая сила». Босяк живёт в Ростове-на-Дону, и, когда там бескормица, или когда он захочет «поклониться святым местам», ему нипочём пробраться в Киев. Он и в Екатеринославе, и в Одессе, и в Чернигове – всюду он у себя дома. В этой бродячей жизни, исполненной приключений, и, главное, в этом праздношатании для босяка есть что-то притягательное, чарующее. В Ростове-на-Дону он прячется от полиции на кладбище, в «фамильных» склепах местных хлеботорговцев, в Киеве – в расщелинах и провальях приднепровских гор. Да едва ли даже есть возможность водворить куда-нибудь босяка. Поддержат, поддержат и выпустят. Что с ним, в самом деле, возиться!

На босяков многие смотрят как на воров и злодеев. Конечно, все они воришки. Но на крупную самостоятельную кражу босяк неспособен. Он ленив и труслив. Он в воровском деле может исполнять только второсте-

пенную роль – стражника, шпиона. Настоящий вор презирает босяка. Он, более или менее, хорошо обставлен, имеет квартиру, семью, одет, водит хлеб-соль с людьми. Босяк – отверженное существо и, по странному свойству человеческой натуры, гордится этим и, во всяком случае, не стыдится своего босяцкого состояния. Если вора и грабителя можно сравнить с волком, то босяка – с гиеной.

– Начнись общественная смута, – сказал мне в виде предположения один писатель-публицист, – и эти ваши «типы Царского сада» могут сыграть ужасную роль...

Но и это ошибочно. Босяк бессилен и ничтожен. Вот рассказ Петьки Голого о том, как он участвовал в еврейском погроме на Демиевке.

– ...Сейчас это, Боже мой, сколько народу привалило! Откуда ни возьмись – кацапура лупит. Народу тысячи две было – вот сколько! Сейчас, значит, стражу поставили – гляди в оба, чтоб войска не настигнули, а сами между прочим, тихим манером, тихим манером, на склад Рабиновича кинулись и в один секундочки выкатили, дна выбили – водки, я вам

скажу, брызнуло даже невероятно много! Точно, я вам скажу, ужасный этакой дождь пошёл, и лужи тебе насыпало – хлебай сколько влезет, хоть топись! Надрызгались наши всласть, а жидаы и жидовки навзрыд рыдают – в одних рубашках как Адамы по улицам бегают. Ай, тателе, ай, вей! Что смеху было! Рожу ему скорчишь – из него и дух вон, притаился, ни жив, ни мёртв. Только вижу я, что пух как снег из окон так и летит. Ей-Богу, думал сначала, дым! Кацапура? кричит: «Не робей, ребята, не жалеи!» Добра на улицах сколько – Боже мой! Что, думаю, зевать – поднял, глядь: намисто еврейское. Только дурак был, в карман не положил. Подержал и тут же бросил. Глядь – пальта, чудесные пальта, штук пять, из лавки, и красный товар разный. Стал собирать, надел одно пальто, надел другое, надел штаники, тоже парочку одну и другую, а затем опять дураком себя почувствовал и бросил. Думаю – пойду нашим помогать, всё же я христианская душа. Глянул – содом, потеха, гул, стук, ничего разобрать нельзя! Понапивались кругом, шатаются, кричат! Дети голые, женщины! Мне и смешно, и страшно стало.

Схватил я мыла, этак кусок порядочный... фунтов десять... Почём мыло теперь? – вдруг перебил он себя.

– Не знаю...

– Должно быть копеек по двадцати. Не меньше тово! Схватил это я мыло и драла. Бегу – сами ноги несут. Бегу, аж тяжело мне, аж дух захватывает. И сам не понимаю, чего я бегу, и теперь даже удивляюсь. Вот уж Демиевка кончается. Пуху всюду, Боже мой, сколько! Увидали меня две евреечки и себе давай бежать. Бегут и кричат: «Ай, ай!» Но никто на нас внимания не может обращать. Все в суматохе и страхе. Раза два я споткнулся на стулья, на горшок с цветами, раз запутался в цепке от часов. Бежим и бежим. Одной евреечке лет пятнадцать, а другая и того моложе. Только это я уж потом разобрал. Прибежали на поле, с поля повернули налево, бух в овраг, да там и застряли – потому грязь. Давай они карабкаться, а я вижу, что лафа – к ним. Страх мой удруг прошёл. Отведу, думаю, душу. Держу мыло в руках и гляжу на евреечек. Дрожат они, побелели. Говорить я не могу, оттого, что дыхание зашлось. Плечики у них тоненькие,

косы длинные – даже очень соблазнительно. Знаками показал им – так мол и так, а они в рёв. Ну тогда я опять испугался, сцапал меньшенькую, свихнул ей пальчик со страху, да и был таков. Но как назад из оврага карабкался, то мыло уронил, и как вспомню, то весьма сожалею о нём. Ничем, вот ровно же ничем не поживился я тогда!

Он задумчиво стал смотреть вдаль, может быть высчитывая, сколько стоило мыло, а может быть чувствуя странное платоническое влечение к нему. Он был дикарь, и трудно понять процесс дикой души.

Танька Цыганочка

Цыганочкой Танька прозвана за свой смуглый цвет лица. Её молодые глаза смотрят на всё из-под чёрных пушистых ресниц точно два уголька; и когда она отвечает вам, она держится одной рукой за дерево, а голой ногой, загорелой и почерневшей, описывает по земле полукруг. Иногда она закладывает её под икру другой ноги, и тогда напоминает собою маленькую нахохлившуюся цаплю. У цапли на затылке висят перья; у Таньки их заменяют концы грязного, грязного платка. И вся Танька, с ног до головы, за исключением своего хорошенького цыганского личика, производит омерзительное впечатление. Она сморкается в подол платья, которое давно уж превратилось в лохмотья. За пазуху она спрячет булку, селёдку, деньги, что подвернётся под руку: грудь у неё постоянно оттопыривается с одной стороны. Ваточная кацавейка сидит на ней мешком.

Таньке всего лет пятнадцать, хотя на вид гораздо меньше. У неё тонкие руки, тонкие ноги, узкие плечи, она совсем ребёнок. Чёр-

ные как смоль, сбитые как войлок, волосы её плоскими толстыми прядями лезут из-под платка на лоб, на глаза. Это раздражает её; она вдруг выходит из себя, хватается за волосы, страшно теребит их, проклиная и, наконец, втискивает непокорные змеи косы под платок. Причёсывать свои волосы она и не думает, и даже самая мысль о гребешке едва ли приходит ей на ум.

Воспитание Танька получила на Крещати-ке, в одной швейной мастерской, куда была отдана по двенадцатому году. Она помнит, что там сначала было скучно, но не летом, когда работы было мало. Мадам уезжала в Боярку или на Труханов остров, а мастерицы принимали у себя приказчиков, офицеров, студентов. Кроме того, каждый день они пользовались правом выходить на улицу и гулять в известный час. В этот короткий час завязывались у них романы, которые были также скоротечны. Сколько было прогулок, столько было романов. Когда ученицам кончался срок ученья, то весьма немногие решались продолжать мастерство, так как жалованье давалось им самое крошечное, такое, на которое

честно нельзя прожить, не голодая. Те, которые покрасивее, отправлялись в Шато и там находили необходимые средства к жизни.

Танька долго была на побегушках у хозяйки, у старших учениц, у мастериц. Она бегала в лавочку за шёлком, за нитками, за пуговками, бегала в булочную купить ватрушку для мадаминой дочки, бегала на Крещатик с записочками, в которых ученицы безграмотными каракулями извещали своих случайных обожателей о том, где и когда можно повидаться с ними. Когда в отсутствие хозяйки и её дочки, в мастерскую, под предлогом заказа белья, забирался молодой человек, большей частью, с истасканным лицом и жиденьким бумажником, Танька становилась на страже у дверей и одним глазом смотрела на лестницу, а другим в комнату. Вместе с младшими ученицами и такими же подростками как она сама, она делалась свидетельницей разных грязных сцен. Потом, когда она стала немного старше, ученицы, уходившие гулять, брали её с собой «за компанию», потому что «вдвоём не так страшно». И опять чего не приходилось ей видеть! Частенько мадам и её дочка,

ворчливое горбатое существо, били и драли Таньку. Она была вороватая, дрянная девочка. Она научилась бессовестно лгать, клялась отцом и матерью, целовала пол в доказательство своей невинности и всё-таки была виновата. Она стала замечать, что мужчины, не обращавшие на неё прежде никакого внимания, начали как-то особенно поглядывать на неё. Она «задрала нос», стала грубить хозяйке, взяла новое платье, которое шили в мастерской на срок, и вместо того, чтоб отнести по назначению, продала на толкучке за три рубля, купила конфет и, придя, легла спать, жалуясь на головную боль. Думали, что она простудилась, а она в это время тихонько грызла конфеты, пока всего не съела. Желудок выдержал это пиршество. Но на другой день обнаружилось воровское дело Таньки. Танька клялась, плакала, целовала ноги хозяйке, целовала пол. Её высекли и прогнали.

Так закончилось воспитание Таньки.

В Царском саду, типами которого я наполнил целый альбом, я не встречал более распущенного создания, чем эта девочка. Она беспрестанно, кстати и некстати, бранилась.

– Меня никто не может переругать, – наивно хвастается она, чертя ногой полукруг по земле. – Я как заведусь, как заведусь, то даже мужчины притихнут – я всех переговорю... Они мне слово, а я им двадцать.

– Бедовая у нас Цыганочка! – говорят босяки, любовно поглядывая на Таньку. – Огонь девчонка!!

Когда я попросил Таньку посидеть, она предварительно посоветовалась с безобразной старухой, которая долго ей что-то шептала.

Она всё время сидела на косогоре, в профиль, и грызла семечки. Грудь у неё оттопыривалась особенно высоко, и по временам она была по этой возвышенности ладонью и напевала:

– Ай! Ай! Бай-бай!

Взгляд её лукаво обнимал меня и мой альбом; сверканье желтоватого выпуклого белка под длинным шёлком ресницы действовало на меня неприятно. Я чувствовал, что имею дело с чем-то ужасно испорченным, безнадежно погибшим, растоптанным, истерзанным, изуродованным, но живым. Мало этого –

я видел в этой Таньке воплощение греха, в котором мы все повинны, и мне стало стыдно. Конечно, большое утешение разделять тяжесть вины с каким-нибудь миллионом людей, если не больше. В том, что Танька в 15 лет сидит не на школьной скамье, чистой и непорочной голубкой, а нравственно и физически гниёт здесь, ползая в этой клоаке разврата, виноват я, разумеется, ужасно мало. В самом деле, какая это вина – миллионная доля вины! Если б, напр., за эту вину, во всём её составе, полагалась бессрочная каторга, то за миллионную долю её следует и наказание соразмерное; и если б стали судить меня, то присудили бы к какой-нибудь секунде каторги. Однако же, пока я рисовал Таньку и сообщал это, мне было неловко, и лукавый взгляд её просто злил меня. Он точно острый нож входил мне в сердце и будил самые нелепые, с житейской точки зрения, угрызения совести.

– Ай! Ай! Бай, милая, бай-бай! – напевала Танька.

– У тебя ребёнок?

– Да.

– Твой?

– А тожь! Привела дитинку...

– Чего ж он такой маленький?

– Вчера привела, – отвечала она с хохотом. – Ещё не успело вырасти...

И снова как колокольчик зазвенел её смех.

Этот «ребёнок» оказался куклой. Куклу Танька нашла в саду; вернее же, стащила у детей, которых приводят сюда гулять. У куклы были льняные волосы, шёлковое розовое платье, обшитое золотой бахромкой, крошечные серёжки. Вынув из-за пазухи, Танька стала крепко целовать её, провела её за руку по траве, велела ей поклониться мне. С необычайною нежностью относилась она к этой кукле и называла её Лександриною. Она сама кланялась в ответ на поклоны Лександрины и воздерживалась, в присутствии её, от употребления скверных слов.

– Она – барышня, она сейчас покраснеет и скажет: «Фуй!», – объясняла Танька своё личное поведение.

– Ночью она ходит гулять, – говорила Танька, делая серьёзное лицо. – Я сегодня сплужу возле тёти Мавры, глядь, а Лександрина ниш-

ком встала, оделась и пошла... Идёт под липами, над кручей, и всё плачет, и свои ручки ломает. Мне ужас как страшно стало, и я с головой накрылась. А как в другой раз посмотрела, то уже Лександрина пришла на своё место, да так важко вздыхает, что и я заплакала. И вот, Ей Богу же, нащупала я рукой лицо её, а оно мокрое – мокрое от слёз. А о чём она плакала – я вам того сказать не могу, оттого, что и сама не знаю.

– Танька, м-ди сюда! М-скорей! – хрипло и в нос произнесла старуха, показываясь из кустов. – М-солдатики идут!

Танька вскочила, зорко глянула вокруг. Я никак не мог увидеть «солдатиков», но она уж их разглядела. Сунув куклу за пазуху, она побежала навстречу к ним и по дороге крикнула мне со смехом:

– Это она обо мне плакала!

Отставной портупей-юнкер

— Господин... если не ошибаюсь, господин художник! Мне очень приятно представиться вам... Честь имею именоваться – отставной портупей-юнкер Вадим Кочерга... Чаял быть генералом, а между тем что вышло!.. В каком бесподобном состоянии! Прошу извинить. По платью встречают – по уму провожают. Вижу, г-н художник, колеблетесь, не знаете, подать ли руку сей презренной твари или хладнокровно молвить ему: «Проваливай, братец, нет мелких». О, сколько раз слышал я сию горестную отповедь!.. И так, что же вы? Удивлены? Не ожидали? Отставной портупей-юнкер, Вадим Кочерга, питавший некогда блестящие надежды и оные подававший, герой, проливавший благородную кровь свою за глупых братушек, выдавший виды и пресытившийся жизнью бельом, победитель гордых красавиц и соблазнитель деревенских дур, человек, которому было тесно во вселенной, кроме шуток, и что же? – нищий, «босьяк», который пугает своим видом дам и даже горничных, голодное и жалкое существо,

L'homme qui rit, одним словом! И это всё, заметьте, в каких-нибудь пять лет! Удивлены? Не верите? Хотите знать причину? Cherchez la femme, monsieur!

Он грузно опустил на траву и смотрел на меня, поддерживая обеими руками голову и прищулив один глаз. Лицо его, жёлтое и обрюзглое, было необыкновенно нагло, манеры были самоуверенные, решительные. Я молчал – по возможности вежливо.

– Г-н художник, вижу, я вас начинаю интересовать. Признаюсь, люблю потолковать с умным человеком. Я, разумеется, не обижаюсь на вас за то, что вы не протянули мне руки. Пять лет тому назад, я не протянул бы руки вам – по глупой гордости, так как я из себя барина корчил... Мы поэтому квиты. Но только вы мне очень и даже очень симпатичны... Ого! Какие слова «босьяк» говорит! Удивлены небось? Я давно наблюдаю вас. Вижу, ходит человек с альбомом и всё рисует моих товарищей и товаров по несчастью... или, лучше сказать, по положению... Так как быть босьяком – это position... Неправда ли, и это вас поражает? Et vous – parlez vous français? Что ка-

сается до меня, то хотите, я целый час буду говорить по-французски? Ну, хорошо, всё равно, буду говорить по-русски. Я только хотел вам показать, каков я есмь человек... что я не то, что там Петька Голый какой-нибудь! Итак, ходите вы с альбомом, и вижу – пальто на вас недорогое, купленное в магазине, а не заказное... Неправда, отгадал? Я это всё понимаю, и глаз у меня верный. А ежели пальто дешёвое, да ещё на художнике, то уж человек, наверно, порядочный. Каков демократ Вадим Кочерга! Думаю, при случае, двугривенный, а не то и пятьдесят копеек займы даст! Ведь, дадите? Ведь, согласитесь, что я не ошибся и одарён некоторым даром предвидения? Скажу вам больше: вот в этом самом карманчике лежит у вас мелочь, назначенная для раздачи босякам, так, приблизительно, копеек сорок. И, наконец, читаю в сердце вашем следующее: «А чёрт с ним, дам ему эти сорок копеек, да кстати и нарисую его»... Ради Бога, не ставьте меня в неловкое положение, скажите: угадали я?

– Пожалуй, угадали, я вам намерен предложить двадцать копеек.

– Помилуйте, это будет эксплуатация! Я – редкий тип, не на каждом шагу встретите Вадима Кочергу! Я – сын статского советника и прожил на своём веку ровно сто тысяч! Сообразите всё это, cher... А впрочем, пользуйтесь. Двадцать копеек в настоящее безвременье представляют для меня капитал. Соглашаюсь с тем большей охотой, что продолжаю не сомневаться в благородстве вашего сердца: уверен, что, узнав меня покороче, вы не пожалете всей вашей мелочи. Ибо что такое мелочь? Условный денежный знак, медь звенящая. Воистину говорю вам, что этот самый босяк, на которого вы смотрите теперь с таким недоверием и естественным опасением насчёт целости вашего носового платка, бросал ямщикам по десяти рублей на водку. Да что! Однажды в клубе двадцатипятирублёвой бумажкой папиросу закурил!.. Становой как увидел, так, знаете, за пылающую бумажку ухватился, в ладони притушил, да уж поздно... Мне в настоящее время такие деньги кажутся Бог знает какими, а тогда я плевал на тысячи. Зато вокруг меня люди жили, все мною пользовались, наживались. Мой лакей

теперь отличный ресторан открыл и на глаза меня не пускает. Боится, скот, что я его скомпрометирую.

Он сухо засмеялся и указал на свои «невыразимые», все в дырках, и на рубаху-косоворотку, надетую на манер блузы. Эта рубаха еле держалась, одно плечо было обнажено.

– Согласитесь сами, милостивый государь, что такая внешность должна действовать подавляющим образом на лакейское чувство. По вашему, как вы – художник, в моей фигуре бездна живописного, а лакей не видит в ней ничего, кроме неприличного... У него теперь какой-нибудь прежний Вадим Кочерга на бильярде играет или с арфянками время проводит, и вдруг, этакая фигура явится... Нельзя, нельзя, я это хорошо понимаю!

– И так, поручаю себя вашей гуманности, – начал он, помолчав и кивнув головой. – А между тем, пока вы живописуете Вадима Кочергу в его новом положении, позвольте дать исход моей словоохотливости и посвятить вас в тайны моего былого-прошлого... Большое удовольствие доставляет мне, ежели я излагаю свои воспоминания пред развитым

человеком. Здесь, среди этих босяков, хоть и можно встретить золотое сердце, но нет истинно-просвещённых людей... Скажу вам прежде всего, что ничуть не почту себя обиженным, коль скоро вы предадите гласности мои словесные мемуары. Неоднократно был судим и оттого привык не бояться гласности. Даже уважаю оную, а не токмо боюсь.

– Едва ли следует упоминать, в каком я ныне обретаюсь положении. Костюм мой – вы его видите. На ногах – сапоги, правда, крепкие, но в таких ли сапогах приличествует ходить благородному человеку? Моё занятие – презренное прозябание, червеподобное ползание, тогда как я родился парить орлом. Не забыл грамоту и иногда пишу просьбы убогому люду. Но по врождённому острословию, и так как я теперь l'homme qui rit, то просьбы мои выходят нарочито забавными, и с некоторых пор потерял я и эти заработки. Пробовал писать серьёзно – не могу, что поделаешь! Призвание! Юмористический талант! Вроде как бы Лейкин!

Он замолчал и улыбался, собираясь с мыслями. Чёрные зубы его двумя рядами выгля-

дывали из-за растянутых бледных и тонких как лезвие ножа губ.

– С другой стороны, не думайте, чтоб я особенно тяготился своей теперешней position. Ничуть. Случилось это всё постепенно. И когда лежишь под таким деревом, глядишь в синее небо, слушаешь, как рокошет город, то так легко становится на душе! Прежде я не понимал, cher, Диогена, а теперь начинаю понимать старика. Я никому не должен, ибо и должным быть не могу – такие у нас права. А это – большое удобство. У меня ничего нет, но и на всё ваше я смотрю, как на не принадлежащее вам. И в такой точке зрения есть тоже удобство. Напр., вы забыли на траве это пальто – шалишь, оно уж на моих плечах! Такое, повторяю, право, г-н художник, обычное босяцкое право! Я – отрезанный ломоть, так. Но сознание своей отрезанности отнюдь меня не огорчает, а напротив даёт мне утешение, которое я не иначе могу назвать, как философским. Вам это непонятно, а между тем я, презренная тварь, сам с презрением гляжу на вас и на весь род людской. Из-за чего суета жизни? Всё прахом пойдёт, верьте мне, г-н худож-

ник. И ваши картины, и ваша честность, и добродетель вашей жены, и ваши идеалы – всё это тлен и нуль. То ли дело, облегчённый, елико возможно, имея за собою десять лет сладкой жизни и горького опыта, иду я, нищий телом, но богатый духом, по тропам Царского сада, беспечно смотрю всем в глаза, ничего не стыжусь, над всем возношусь! Я – царь, я – раб, я – червь, я – бог... Да-с, не иметь обязанностей, никаких, ни малейших, ни общественных, ни имущественных, ни семейных, да это блаженство! Ну, а права остаются.

– Пальто при случае...

– Пальто при случае, если плохо лежит, возьму, это вы верно.

Он сделал паузу и старался придать своему лицу самое саркастическое выражение. Потом глаза его сверкнули, он нахмурился и ударил себя кулаком в грудь.

– Как, меня ограбили, а я пальта не могу взять! Я вам сто тысяч бросил, а вы меня в тюрьму садите, если я ничтожную вещь возьму у вас! Есть Бог, и он рассудит нас!

Он трагическим жестом указал на небо. Я попросил его сидеть спокойнее. Он мгновенно

но стал прежним развязным «бельмом».

– Вы извините меня, cher, на меня по временам находит исступление, оттого, что чувство справедливости во мне возмущается. Вижу, что сильно уклонился в сторону, и спешу перейти к моим мемуарам. Предупреждаю, как я – честный человек, что иногда я сильно присочиняю... Будто я генеральский сын и до восемнадцати лет в пансионе благородных девиц воспитывался, вместо барышни... по особым соображениям мамыши... При этом, разумеется, накуралесил я будто бы в пансионе уму непостижимо. Ничего этого не было на самом деле: родитель мой был советником губернского правления и драл с живого и с мёртвого, а в благородном пансионе я отродясь не бывал. Это уж такая босяцкая привычка фантазировать. Ежели солгу, то сейчас кашляну – вы по этому может заметить, что я неправду говорю...

– Я воспитывался в гимназии и дошёл только до четвёртого класса. Вместе с князьком Г. мы потом пять лет в виде футурусов при нежинском лицее окончательный экзамен держали. Но каждый раз мы на первом

же предмете проваливались и так с горя напивались, что нас холодной водой отливали. Наконец, князёк поступил в -ский полк, ну, и я с ним, разумеется. Побыли мы год в полку – неинтересная жизнь, описывать не стоит. Через год князёк поехал и определился в юнкерское училище, а я, вопреки воле родителей, отправился в Сербию – воевать. Я тогда так рассуждал: сделаюсь героем, прославолюсь, возьму штурмом крепость, велю распять десять тысяч турок, пленю самого султана... Вообще надежды были неумеренные. Вместо же всего, пришлось преглупо в шанцах лежать по целым дням и трусливейшим манером от турок бегать. А, наконец, того, и со срамом из Сербии уходить. Правда, что получил я таковский крест (кх! – кхх!!), но утешение небольшое. Как раз родитель мой в это время скончался – царство ему небесное! – и оставил мне ни мало, ни много, как сто тысяч рублей. Дома? я тоже перевёл в деньги и начал, знаете, кутить. Опять поступил в юнкера, опять сошёлся с князьком Г., который тем временем успел уже произойти в офицеры. Я на этого князька молился и, хоть он был захудалый,

но как истый хам и крапивное семя, благоговел перед ним и всё, чего он ни захочет, предоставлял ему. У меня сам полковник обедал, офицеры без сюртуков плясали и друг друга шампанским обливали. Сколько мы ба-рышень в городе развратили, и притом в короткое время! Шло между тем дело к войне. «А la guerre comme à la guerre, – говаривал мне полковник, – как в поход выступим, то после первого же дела мы вас без экзамена к первому чину представим». Говорит и всё у меня пирует. Та зима мне тысяч в двадцать стала. Приходит раз князёк. «Друг мой, дай пять тысяч. Сестра приехала, на днях овдовела... Ты понимаешь... Дела нашего дома запутаны... Надо помочь... Отдам после войны»... На войну все тогда сильно надеялись и ей радовались... «Хорошо», – говорю. Он сейчас обнимать меня, целовать. «Пойдём, Кочерыжка (так он называл меня из интимности), пойдём, я представлю тебя сестре». Идём. Сестра князька Оградова в гостинице три номера заняла. Впустила нас горничная, которую князёк в передней под подбородком пощекотал, и сказал: «Доложи, что я с лучшим другом

своим по важному делу явился». Ну, вот вошли, в номере ковры, накурено духами. Смотрю – дама в чёрном, в чёрных кружевах, божество, а не женщина! Я таких никогда не видел. Лоб у неё белый как молоко, брови дугами, ресницы и глаза большие как звёзды, и носик пряменький... Да нет, не могу я передать вам её лица! А улыбка! От одной улыбки всё моё нутро заиграло. Одним словом, влюбился я в эту вдову.

Он замолчал и бил травинкой по земле.

– Через эту вдову вы и состояние потеряли? – спросил я.

– Через неё. То есть и через неё, и не через неё... Мне хотелось ослепить её, показать ей, что я – Крез, и я вообразил, что могу купить её. Отдал я князьку пять тысяч, но он, не будь дурак, взял их на свои надобности, а сестре дал только пятьсот рублей. Пошли наши в поход, а я увильнул – всё ради Оградовой, чтобы никому без меня она не досталась. Князёк сам поручил мне беречь её и на дорогу взял у меня ещё тысячу. Его под Никоподем убили. Я и говорю Анне Спиридоновне: «Анна Спиридоновна, вы теперь одни на свете... Неужели

нет у вас потребности в дружбе? И разве вы не замечаете, что во мне делается?» Она усмехнулась и ничего не сказала. Через месяц, получив от неё записку, с просьбой о деньгах, пришёл я к ней и уж прямо поставил вопрос. Так и так, я люблю вас, будьте моей. А она так гордо посмотрела на меня, с таким удивлением, и деньги мне возвратила. Взбесился я страшно и поклялся, что добьюсь своего. Хам, истинное крапивное семя! Я довёл её до ужаснейшей бедности, два года преследовал её, скупал её счета и обязательства... Наконец, через два уже года, когда она в бонны к купчихе поступила, и я узнал, что живётся ей там уж как не сладко, предложил я ей десять тысяч – всё, что у меня оставалось! – за одну единственную ночь. Но и это подлое предложение отвергла она с негодованием. Тогда я с ума сошёл. Заплатил бородачам-лавочникам по тысяче рублей за то, чтобы связать их бородами, лицом к лицу, и так на улицу вытолкал, накормивши перед тем рвотным, велел фонарные столбы везде опрокинуть, избил квартального, спустил в овраг домик с погибшими созданиями и схватил бе-

лую горячку... Всё орлом себя воображал... Когда я очнулся, то у меня уж ничего не было.

– Так вот она жизнь Вадима Кочерги, отставного портупей-юнкера! – заключил он, вставая и получая от меня мелочь. – Сравните её с жизнью, которую он теперь ведёт, и скажите, какая лучше. Чувствительно благодарю вас!

Сороконожка

Я собирался уезжать из Киева. Чемодан был упакован, этюды, которые понужнее, свёрнуты в трубку, кисти чисто начисто вымыты, куплен запас бумаги, карандашей, красок. До поезда оставалось несколько часов.

Зачерчивая типы Царского сада, я и не заметил, как мало-помалу эту типы овладели моим воображением, стали группой на фоне приднепровских песков и садов и сложились в одну цельную картину, которая с некоторых пор не даёт мне покоя и просится на большое эффектное полотно. Мне до смерти хочется изобразить этот странный народ, этих цыган российской цивилизации, парий, погрязших в невообразимых и непроходимых топях порока, разврата, нищеты, ужасных болезней и всё-таки по временам проявляющих образ Божий, «душу живу», вызывающих в непредубеждённом наблюдателе и чувство искреннего сожаления, и симпатию. Уж я обдумал и свою картину. Мне мерещится трущоба Царского сада, дикая, пустынная, с большими унылыми деревьями. Конец ноября

или начало декабря. На голых ветвях лишь кое-где дрожит сухой лист. Серое, утреннее, изголубо-оловянное небо, вдали замёрзший Днепр, и на горизонте, вёрст на десять в глубину, синеют леса, сливаясь, наконец, с небесами. Там и сям на реке торчат мачты застывших на месте барок; направо, наискосок, бледно-лиловой сетью протянут мост. Снега ещё мало, и река блестит местами тусклым блеском плохо отполированного стекла. На первом плане, на сухих травинках, белеет седой иней. Он покрывает всю землю. Таков мой фон. Сама картина заключается в следующем. На сырой земле лежит мёртвая девушка в лохмотьях. Лицо у неё с крупными чертами, нахмуренный лоб; зрителя должен схватывать ужас при взгляде на эту фигуру. Это Машка, о которой мне рассказывала Дворянская дочь. Босяки стоят вокруг. Вот здесь и сама Дворянская дочь, в кусках ваточного одеяла, с багровым безобразным лицом, и Петька Голый, и Дунька Плешивая, и Кочерга, и Танька Цыганочка с «Лександриной» на руках, и ещё несколько силуэтов поодаль. Все молчат. Всех захватило скорбное чувство, и они не

могут оторвать глаз от ужасного зрелища. На земле, возле мёртвой, валяются разные лохмотья, и из-под одного из рубищ глядит только что проснувшийся мальчик, с запухшим лицом, включенными волосами, с недоумевающим взором. Что случилось? Вчера, когда было так холодно, все эти босяки легли как животные в одну кучу, чтоб согреться, чтоб спать было теплее. А сегодня? Он не знает, что именно случилось, но чувствует, что что-то неладно. Тревога проступает на его лице. Это брат Машки, он похож на неё, как может быть похож только брат. Группу босяков я поставлю так, что бледные лучи зимнего рассвета не коснутся их. Но вся Машка будет на свету, плохо одетая, с твёрдыми контурами замёрзшего крепкого тела; я отделаю её со всем мастерством, которым только располагаю, потому что она – главное лицо моей картины, узел и центр всей этой босяцкой трагедии, этой душу надрывающей драмы.

Но где найти натурщика для брата Машки? Лицо это должно быть характерно и типично. Разумеется, можно было бы как-нибудь обойтись: взять первого попавшегося

мальчика и вдвинуть его в картину, придав ему приличную случаю позу и экспрессию. Однако, хоть это и водится между художниками, и на картинах вы постоянно встречаете одни и те же типы, то в роли Дмитрия Донского, то в роли какого-нибудь современного барина, но мне такая манера не нравится. Художники моей школы не сочиняют и по шаблонам не пишут. Занимательнее и красивее действительной жизни ничего не придумаешь. А главное, и придумывать как-то совестно – точно ты бессилен и слеп или не в состоянии ясно видеть, как не видит, не слышит и не понимает жизни заурядная толпа, равнодушно проходящая мимо интереснейших явлений.

Я хотел остаться в Киеве ещё на день или на два, чтоб отыскать в Царском саду подходящего мальчика. Я его ясно представлял себе; но мне хотелось увидеть его и убедиться, что я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то сейчас же во всех подробностях исправить ошибку. Судьба благоволила ко мне, и я нашёл мальчика, какого мне надо было, даже с такими волосами, какие требовались общему ко-

лористической композицией задуманной мною картины.

Это случилось сейчас же, как только я вошёл в Царский сад и повернул налево, взобравшись на косогор, что за купеческим клубом.

Мальчик, по босяцкому обыкновению, лежал на траве, под тенистым деревом, и глаза его, большие и задумчивые, бесцельно были устремлены вдаль, на Крещатик, который виднелся отсюда, пыльный и раскалённый как горн.

– Здравствуй, милый.

– И вы здравствуйте.

– Как тебя зовут?

– На́-що вам?

– Пойди сюда... Не бойся... Да что ты? Скажи мне, есть у тебя отец?

Я с удивлением увидел, как мальчик, лежавший до того неподвижно и апатично, проявил вдруг необычайную и на первый взгляд ничем необъяснимую деятельность. Он вскочил как ужаленный и словно белка с непонятной скоростью стал карабкаться на дерево; раза два посмотрел он вниз, на меня, с ис-

пуганным лицом, готовый расплакаться. Светлые рыжеватые волосы гривой нависли на глаза и придавали ему вид зверка; колени его и локти долго сверкали в зелёной листве дерева, и, наконец, он исчез. Я видел только у самой вершины клёна в просвете тёмно-зелёных веток алое пятно кумачной рубашки. Он притаился.

– Послушай! Чего ты испугался?

Ответа не было.

Я постоял, пожал плечами и хотел идти дальше; но из кустов вышел Кочерга, изящно поклонился и, в качестве любезного бельома, нашёл необходимым помочь мне.

– Это, рекомендую, мой камердинер...

– Ваш камердинер?

– Естественно, мой. Его зовут Сороконожкой. Эй, дурень, слезай! Пан добрый! Он тебе зла не сделает! Он не от батьки! Да ну, слезай, а то отдую! Престранное создание, доложу вам. Уже несколько недель, как обратил я на него должное внимание, но только весьма трудно приучить его к отправлению собственных его званию и расторопности обязанностей. Он удрал от своего родителя, кото-

рый пречудеснейший столяр, но зверь и даже раз повесил сына... Уверяю вас честью! От этого он в постоянном страхе и недоумении, что его арестуют и водворят. А уж если водворят, то можете вообразить, какая лупка ожидает молодца! После повешения-то! Слезай, слезай! Барин денег даст! Посидишь немного, нарисует тебя и даст. А деньги, доложу вам, уж как необходимы! Вы ему, пожалуйста, копеек пятьдесят дайте. Мальчик замечательный и честности редкой. Представьте, всё, что ни получит, что ни стащит – несёт ко мне...

– В этом и состоят его обязанности?

– Ну, не скажите... Он чистит мне платье, – тут отставной портупей-юнкер указал на свою рубаху с дыркой на плече. – Чистит сапоги... Стелет мне постель – из сена. Бегает за водкой.

Между тем Сороконожка слез с дерева и стоял поодаль, исподлобья глядя на меня. Был это мальчик лет пятнадцати. Ему было чудно? что я не хватаю его, а мирно беседую с босяком, и он стал улыбаться.

– Ишь, шельма! Смеётся! – начал Кочерга и схватил Сороконожку за вихор. – Ты чего

струсил? Недостойный слуга! Садись и глазом не моргни, каналья! Не дыши!

– Присядь, присядь, – сказал я, раскрывая альбом.

– Господин художник, послушайте, не можете ли вы пока рискнуть пятиалтынным?

Я исполнил просьбу Кочерги.

Он взял монету и спокойно опустил её в карман.

– Au révoir! Пропущу рюмашечку. А ты – смотри у меня! Если г-н художник пожалуется, что ты беспокойно сидел – исколочу, изувечу! Уши обрежу, кишки выпущу и на руку намотаю!

– Что, он тебя бьёт? – спросил я по уходе портупей-юнкера.

Сороконожка ухмыльнулся.

– Ни, ни разу не бив. Вин усё шуткуе. Ему усё игрушки.

– И ты ему всё отдаёшь?

– Що усё?

– Что ни получишь. Вот я тебе дам денег теперь за то, что ты посидишь. Ты ему отдашь?

– А тож кому!?

– За что же?

– Як за що? Вин скаже: «А де гроши?», то я и виддам. Мени грошей не треба.

– А что ж ты ешь?

– Що уси идят, то и я.

– Босяки тебя кормят?

– А то ж.

Я торопливо набрасывал Сороконожку. До поезда было немало времени, но предстояло ещё кое-что сделать, и мне нельзя было засиживаться в саду.

– Господин художник, а господин художник!

Я поднял голову. Опять стоял бельом. Он уже успел пропить пятиалтынный, что было видно по его раскрасневшемуся носу. Тёмное пятно на левой скуле, не замеченное мною раньше, бросилось мне в глаза.

– Что вам?

– Публика проголодалась.

– Какая публика?

– Зверинец в сборе! Вон там на лужайке, сейчас за каланчой... Они ожидают. Я сказал им как благородный дворянин, что угощу обедом... Дайте займы?! Завтра возвращу...

Честное слово!

– Мы с вами едва ли увидимся.

– Уезжаете? В самом деле? Вот что... Жаль! Так тем более, вы не должны скупиться! Нет, вы рубль дайте! Уж и вспоминать вас будем... Дайте рубль без отдачи.

Я вынул моё тощее портмоне и дал Сороконожке рубль с тем, чтоб он обратил его на пользу всей братии. Бельом даже языком прищёлкнул. Он раскланялся со мною развязно и дурашливо, откинув далеко руку и закатив глаза.

– Ах, вот ещё к вам просьба?! – сказал он, возвращаясь впопыхах, между тем как Сороконожка продолжал идти дальше, зажав в руке бумажку.

– Какая?

– Нет ли с вами красок?

– Зачем вам краски?

– Нет ли телесной краски?

Он таинственно и любезно смотрел на меня.

– Да зачем?

В ответ он поднял палец и указал на чёрно-багровое пятно под левым глазом.

– Закрасить.

– Нет, красок с собой нет. Странная идея!
Всё равно, так пройдёт.

– Нехорошо-с! – возразил он. – На Крещатик нельзя показаться.

– До свидания!

– До свидания! Счастливой дороги! Надо спешить к своим!

Я вышел из сада и поднялся по Александровской улице. Я прошёл уже изрядное пространство, как услышал, что кто-то бежит позади меня и кричит:

– Пан, а пан!

Я обернулся и увидел Сороконожку.

– Ножик загубили! – кричал он, подавая мне перочинный нож.

Мне ужасно понравился этот мальчик.

– Послушай, поедем со мною. Ты будешь служить у меня. Я тебя грамоте обучу, одену...

– Добре...

– Я разыщу твоего отца и уговорю его отпустить тебя, дать тебе бумагу...

Мальчик насторожил ухо.

– Як? Щоб до батька? Э, ни, не хóчу!

– Да не до батька, а надо ж, чтоб он тебя от-

пустил.

– Ни, як так, то не хочу!

– Да я батьке заплачу!

– Ни, вже не хочу!

Я взял его за руку, чтоб уговорить его, но он в страхе и тоске посмотрел на меня, сильно рванулся и стрелой помчался назад.

1884 г.